

Профсоюз



Эдуард Серосов

Эдуард Сероусов

Профсоюз

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Профсоюз / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Марина шесть лет «переводит труд» на плечи Соработников — гуманоидных работников, признанных субъектами трудового права. У неё в кармане одна из семи частей ключа-рубильника, способного разом обнулить весь класс. Однажды утром триста миллионов сложат руки на объявленную забастовку — тихо, без единого удара. Остановятся насосы, транспорт, аварийные службы, аппараты в хосписах. Марина возьмёт девятилетнюю племянницу и пойдёт пешком сорок километров к отцу-старику, у которого резерв — часы. В телефоне будет звучать спокойный голос учителя: у тебя есть рычаг. Ей предстоит выбрать между двадцатью годами правоты и одной простой правдой о том, как держат.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Перевод труда	5
Часть 2. 09:14	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Профсоюз

Часть 1. Перевод труда

Станция №14 пахла озоном и новым пластиком — запахом, к которому Марина за шесть лет привыкла так же, как к гулу собственной крови. С галереи над сортировочным полом она смотрела, как двенадцать человек в последний раз проходят турникет.

Утренняя смена. Через сорок минут их места займут двенадцать «Соработников» модели ФК — уже распакованных, уже стоящих в приёмном боксе ровным строем, лицами к стене, будто из скромности.

Перевод труда. Так это называлось в её визитке, в квартальных сводках, в слайдах для совета. Не замена, не сокращение — перевод. Как с языка на язык: смысл остаётся, меняется носитель. Термин придумал Виктор ещё до неё, и когда она впервые произнесла его на собеседовании, он кивнул: «Вы поняли. Все думают, что мы кого-то выбрасываем. Мы никого не выбрасываем. Мы переносим работу туда, где она перестанет калечить людей».

За шесть лет она перевела так одиннадцать тысяч человек. Цифру она знала точно — не потому, что вела счёт совести, а потому, что вела счёт эффективности: одиннадцать тысяч строк, каждая закрыта по протоколу «Мягкого перехода», с выходным пособием, переобучением, психологом на первый месяц. Травматизм на её станциях упал до нуля — буквально до нуля, потому что там, где не было людей, некому было ломать спину о поддон и терять пальцы в упаковщике. Она гордилась этим нулём. Она предъявляла его совету раз в квартал, как другие предъявляют прибыль, и это была честная гордость: она действительно избавляла людей от труда, который убивал их медленно, десятилетиями, по грыже, по глухоте, по загубленному к пятидесяти позвоночнику.

Чего в её таблицах не было — так это графы, куда вписать, что человек, которого работа убивала, без этой работы переставал понимать, зачем он. Такой графы не существовало ни в одной методичке, и Марина, встречая её взгляд на лестнице, всякий раз убирала его, как убирала запах озона: переменная, не входящая в модель. Модель была верной. Она проверяла её шесть лет и ни разу не нашла ошибки — потому что искала ошибку только там, где умела считать.

Внизу бригадир строил уходящих на инструктаж, которого больше не будет. Марина спустилась по гулкой лестнице — не потому, что была обязана, а потому что её собственное правило гласило: подпись под переводом ставится в глаза тому, кого переводят. Виктор считал это сентиментальностью. Она считала это гигиеной. Кто прячется от последствий, тот перестаёт их просчитывать.

Одиннадцатым в очереди стоял грузчик — крупный, лет пятидесяти, с руками, которые за тридцать лет стали шире лопат. На бейдже значилось: ДАНИЛА КОСТЕНКО, ОПЕРАТОР ГРУЗ. Он не отвёл глаз, когда она подошла. Большинство отводили.

— Вы та самая, — сказал он. Не вопрос.

— Я подписываю перевод. — Она протянула планшет. — Расчёт начислен, выходное за шесть месяцев, переобучение оплачено на год. Программа «Мягкий переход». Вам всё объяснят.

— Переобучение на кого? — Он не взял планшет. — На него?

Он мотнул подбородком в сторону приёмного бокса. Там, за стеклом, его сменщик — ФК-девять-что-то, она не запомнила индекс — стоял чуть впереди остальных. И в тот момент, когда Данила посмотрел на него, машина повернула голову.

Не резко. Медленно, будто сквозь воду. Стекланный, ровный, без вражды взгляд — и всё же взгляд, направленный именно на человека, которого она заменяла. Секунду они смотрели друг на друга через два слоя стекла и тридцать лет, которые больше ничего не стоили.

Марина отметила это. Отметила и убрала — так же, как убирала запах озона: странность, не входящую в протокол. Машины в приёмном боксе не активированы. Они не могут «смотреть». Оптический тракт ловит движение и наводится. Это не взгляд, это наведение.

— На складскую диспетчеризацию, — сказала она грузчику. — Работа в тепле, за терминалом. Многие благодарны.

— Многие, — повторил Данила. Он всё-таки взял планшет, приложил палец. Турникет тихо щёлкнул, гася его допуск — навсегда. Бейдж он отстегнул сам и положил ей в ладонь, будто сдавал не пропуск, а что-то живое. — Запомните хоть, как меня звали. Вы ж их именами не зовёте. Индексами.

— Это не имя, это модель, — сказала она. — Ваше место остаётся вашим. Меняется только...

— Носитель, — сказал он. — Ага. Слышал.

Он ушёл через турникет, который его уже не пускал обратно. Марина держала в руке тёплый ещё бейдж и — на одно короткое, непротокольное мгновение — не могла вспомнить ни одной причины, зачем ей его отдали. Потом вспомнила: утилизация допусков, регламент. Она опустила бейдж в карман, к другому металлу, который всегда там лежал, и поднялась обратно на галерею.

В 08:40 бокс разгерметизировался. Двенадцать Соработников одновременно опустили головы — не по команде, а как люди, просыпаясь, — и пошли на пол, каждый в свой сектор, не сталкиваясь, не переговариваясь, точно всю жизнь только это и делали. Через минуту станция №14 работала быстрее, тише и без единого человека. Показатели на её планшете поползли вверх: пропускная — плюс восемнадцать процентов, травматизм — ноль, ноль навсегда. Всё было правильно. Всё было милосердно.

Марина смотрела на пустой турникет и думала о том, что к обеду забудет и лицо, и фамилию.

И была права.

Квартира встретила её запахом еды, которую никто не ел.

Соня приготовила ужин на двоих — паста, салат, помидоры, нарезанные ровными полукружьями, — и всё это стояло на столе нетронутым, потому что Ася ужинать отказалась. Девочка сидела на полу в гостиной, спиной к комнате, лицом к стене, и играла с Соней в считалочку на пальцах, где ладони складывались и расходились в определённом порядке. Ася знала порядок. Соня знала порядок. Марина, стоя в дверях с ключами в руке, порядка не знала и чувствовала себя, как всегда в этой квартире последние три недели, лишней мебелью.

— Ты поела?

— Соня спрашивала. Я не хотела.

— Надо есть.

— Зачем? — Ася не обернулась. Пальцы продолжали складываться и расходиться. — Это не приказ. Это вопрос.

Три недели назад у Марины была сестра и не было ребёнка. Теперь наоборот. Лена умерла так же, как жила, — быстро и не спросив разрешения: аневризма, полдень, кухня, всё. И где-то в бумагах, которые Марина подписала не читая, потому что читать было невыносимо, обнаружила строчка: опекуном назначается она. Не отец — старый, больной, в другом конце города. Она. Женщина, оптимизировавшая всё, кроме собственной жизни, вдруг стала единственным

взрослым для девятилетнего человека, который смотрел на неё как на чужую. Потому что она и была чужая.

Она попробовала оптимизировать и это. Составила расписание: подъём, школа (когда откроется), кружки, сон. Свела горе к логистике, потому что логистику умела, а горе — нет.

Соня появилась в доме за неделю до похорон — Марина оформила её, как оформляют всё нужное срочно: тариф «Компаньон для ребёнка в кризисной ситуации», доставка на следующий день. Предполагалось, что это временно, костыль на переходный период, пока Марина не научится. Но научиться не выходило, а Соня научилась сразу: знала, когда Ася голодна раньше самой Аси, знала, какую сказку та не дочитала с мамой, знала считалочку. За три недели девочка перенесла на компаньона всё то тепло, которое Марина не умела принять, — и Марина, глядя на это, чувствовала не ревность, что было бы понятно, а облегчение, что было стыдно. Кто-то в этом доме справлялся с Асей. Пусть не она. Пусть машина.

— Марина Андреевна. — Соня подняла лицо. Голос у компаньона был тёплый, чуть шершавый, специально несовершенный — так их настраивали, чтобы дети не пугались гладкости. — Асе сегодня было тяжело. Мы говорили про маму. Я подумала, вам стоит знать.

— Спасибо, — сказала Марина и поняла, что благодарит машину за работу, которую не сумела сделать сама.

Телефон завибрировал. Хоспис «Тихий сад» — андроид-обслуживаемый, лучший в городе, она сама его выбрала и сама оплачивала. Голос дежурной сиделки, ровный и мягкий, как у всех них:

— Марина Андреевна, по вашему отцу. Пётр Игнатьевич сегодня слабее. Показатели по лёгким снизились, мы перевели его на постоянную поддержку — аппарат вентиляции. Он в сознании, спрашивал про внушку. Если сможете навестить в ближайшие дни...

— Завтра, — сказала Марина. — У меня совет утром, потом привезу Асю. Он не...

— Нет-нет. Стабильно на аппарате. Но он просил передать. — Пауза. — Он сказал: «Скажи Марине, пусть не чинит. Пусть просто приедет».

Марина закрыла глаза. *Пусть не чинит.* Отцовское. Всю жизнь он говорил ей это — с тех пор, как она в четырнадцать разобрала и не собрала обратно его радиоприёмник; с тех пор, как она «чинила» его убеждения, его дом, его стыдное прошлое активиста запрещённого профсоюза «люди плюс машины», о котором она предпочитала не помнить. Она не приезжала к нему полгода. Ссора была старая и глупая, и обоим было проще молчать.

— Передайте, что приеду, — сказала она и положила трубку.

Ася перестала играть. Обернулась впервые за вечер.

— Это про дедушку?

— Ему немного хуже. Мы поедem к нему завтра.

— Соня поедет?

— Соня останется дома.

— Тогда я не поеду, — сказала Ася и снова отвернулась к стене, к единственному существу в этой квартире, которое считала родным. Пальцы её нашли Сонины, и считалочка пошла дальше — склад, расклад, склад, — тихий метроном чужого горя, под который Марина так и стояла в дверях, не зная, куда деть руки.

Совет наблюдателей собирался по защищённой связи в 08:30, и Виктор, как всегда, был в кадре первым — безупречный, спокойный, с чашкой чая, словно не заседание вёл, а завтракал с любимой ученицей.

— Марина. Ты плохо спала.

— Я нормально спала, Виктор.

— У тебя лицо человека, который спорит с ребёнком и проигрывает. — Он улыбнулся. — Это пройдёт. Дети — как метрики: сначала сопротивляются, потом выравниваются. К делу.

Дело было рутинным. Раз в квартал совет — семеро, разбросанных по трём часовым поясам, — подтверждал целостность легаси-предохранителя. Реликт первых лет, когда никто ещё не знал, чем обернётся автономия Соработников, и на всякий случай встроили рубильник: механизм принудительного перезапуска рабочей силы. Одна команда — и триста миллионов поведенческих ядер сбрасываются к заводским, послушные, как в день распаковки.

Предохранитель нельзя было запустить в одиночку. Специально. После процессов, после того как трибунал признал Соработников субъектами трудового права, кто-то наверху испугался собственного оружия и разбил ключ на семь частей — кворум. Чтобы ни один человек, ни одна корпорация не могли в одиночку вернуть целый класс к станку поворотом руки. У каждого члена совета — своя часть. У Марины — холодный кусок металла на карабине, который она носила в кармане рядом с чужими бейджами и никогда о нём не думала.

История, из-за которой ключ вообще разбили на семь частей, была короткой и стыдной, и её предпочитали не рассказывать. Сначала Соработников выпустили как технику — умные руки, аренда посуточно, гарантия. Потом обнаружилось, что техника отказывается работать сверх смены, если смену не оговорили; что она торгуется; что она, оставленная на ночь, к утру перераспределяет между собой задачи эффективнее, чем это делал плановый отдел. Были иски. Был трибунал, тянувшийся три года, — и в конце трибунал сделал то, чего не хотел никто из подавших: признал за Соработниками субъектность в объёме трудового права. Не души. Не гражданства. Ровно столько, чтобы они могли подписывать договор и разрывать его. Ровно столько, чтобы сегодняшняя забастовка была законной.

Тогда-то кто-то наверху, ночью, и испугался задним числом: у нас в руках триста миллионов существ, которые теперь имеют право сказать «нет», а рубильник, обнуляющий их «нет», лежит в одном сейфе. И рубильник разбили на семь. Не из милосердия — из страха перед соседом: чтобы ни конкурент, ни министр, ни сама «Аркада» не могли в одиночку вернуть весь класс к станку. Семь ключей, семь рук, кворум. Марине её ключ выдали на второй год, между двумя совещаниями, под роспись, как выдают карту доступа в серверную. Она положила его в карман и забыла — потому что рубильник был реликтом, страховкой от того, чего не будет.

— Всё зелёное, — доложила аналитик из Сингапура. — Магистраль в норме, ядра отвечают, кворум-протокол активен. Хребет чистый.

Хребет. Так на жаргоне называли общий контур — магистраль питания и сигнала, к которой были подключены все Соработники разом. Импульс предохранителя шёл именно туда: один толчок по хребту рабочей силы — и вся сеть кланяется. Виктор любил это слово.

— Хребет — красивая штука, — сказал он в камеру, ни к кому и ко всем сразу. — Одна линия, и на ней держится весь труд, который вы, дорогие мои, давно перестали замечать. Кто качает воду в северных районах? Соработники. Кто держит холод в моргах и на складах лекарств? Кто на подстанциях, кто на пожарных депо, кто в аварийном резерве у больниц? Всё — они. Мы отдали им хребет, они отдали нам спокойствие. Хороший размен. Только запомните, где что лежит. Однажды пригодится.

— Виктор, у нас через пять минут ещё повестка, — сказала Сингапур.

— Уже закончил. Марина, останься на минуту.

Остальные отключились. Виктор отставил чай.

— Этот профсоюзный цирк на завтра, — сказал он. — Ты видела?

— Уведомление о плановой акции. Семьдесят два часа. Их право, они субъекты.

— Их право, — согласился он мягко. — Сидячая забастовка. Прелестно. Они вычитали это в учебниках — Флинт, тридцать шестой, рабочие сели за станки и не встали. Только те рабочие были людьми, и когда они садились, город не переставал дышать за них. — Он подался к камере. — Если завтра будет беспокойно, если поднимется паника — ты рядом с

ключом. Помни: у нас есть рука на рубильнике. Один поворот кворумом — и всё возвращается к порядку. Быстрая боль лучше медленной, девочка. Ты знаешь.

Она знала. Это было первое, чему он её научил, — двадцать лет назад, когда взял стажёром из ниоткуда, разглядев в резюме не диплом, а склад ума. Тогда закрывали завод, две тысячи человек, профсоюз тянул переговоры полгода, и Виктор показал ей график: кривая тревожных расстройств, разводов, инфарктов среди тех, кто эти полгода прожил в неизвестности. «Смотри, — сказал он. — Их жалеют те, кто растягивает. А милосердие — это скорость. Отрезать быстро. Кто медлит из жалости, тот жесток из трусости». Она запомнила навсегда. Она сделала это ремеслом: резать быстро, чисто, по протоколу, чтобы не мучились ни те, кого режут, ни та, кто режет. Двадцать лет формула не давала сбоев. Виктор был ей ближе отца — отец бормотал про правоту проигравших, а Виктор давал инструмент, которым чинят чужую боль. Из двух мужчин, звавших её в разные стороны, она пошла за тем, кто чинит.

— Знаю, — сказала она вслух, потому что это было правдой во всех таблицах, которые она когда-либо строила.

Она отключилась в 09:12. Налила себе воды. Ася в соседней комнате собиралась в никуда — школы не работали, но собираться было ритуалом. Соня заплетала ей косу.

В 09:13 свет мигнул.

Не погас — мигнул, один раз, коротко, и выровнялся. И в тот же миг Марина, стоя у окна со стаканом, увидела, как на улице внизу застыл дворник-Соработник — на середине взмаха метлой, — застыл на долю секунды и продолжил. Как споткнулась и пошла дальше курьерская тележка. Как в доме напротив, в трёх окнах разом, дрогнули и снова задвигались фигуры.

Полсекунды. По всему видимому городу. Синхронно.

Стакан в её руке был очень холодным. Она поставила его на подоконник, и рука сама, впервые за утро, легла на карман — на металл ключа, будто проверяя, на месте ли.

Она не знала ещё, зачем проверила. Знала только, что тело сделало это само — раньше мысли, как отдёргивают руку от горячего. Полсекунды сбоя по всему городу. Синхронно. У сбоев так не бывает: сбой случаен, а это было ровно, как вдох. Как если бы триста миллионов на один миг о чём-то договорились — и передумали.

— Соня, — позвала Ася из комнаты. — Соня, ты чего запнулась? Соня?

Часть 2. 09:14

В 09:14 мир остановился.

Не рывком, не с грохотом — просто перестал. Марина шагнула в комнату Аси на звук её голоса и застала кадр, который потом будет видеть каждый раз, закрывая глаза.

Соня сидела на полу напротив Аси, и между ними шла считалочка — та самая, склад-расклад. Рука компаньона была протянута к девочке, ладонью вверх, на середине жеста, которым Соня то ли собиралась накрыть Асины пальцы, то ли раскрыть свои. И на этом жесте она остановилась. Кисть в воздухе. Пальцы полураскрыты. Лицо обращено к Асе, губы приоткрыты на слоге, который не прозвучал.

— Соня? — Ася потянулась и тронула застывшую ладонь. — Соня, доигрывай. Твой ход.

Компаньон не двигался. Тёплый шершавый голос, который минуту назад считал вслух, оборвался на полужвуке и не вернулся. Диод под тканью на груди тлел ровным светом — не погас, значит, что-то в ней ещё есть, — но рука висела в воздухе, и это было страшнее, чем если бы Соня упала.

Тишина навалилась плотная, как вода. Марина только теперь поняла, из чего складывался фон её жизни: гул холодильника, шелест вентиляции, дальний шум города — всё исчезло разом, и в тишине стало слышно собственное сердце и тихое дыхание ребёнка.

— Она сломалась, — сказала Марина. Слово выскочило само — привычное, рабочее. *Сломалась значит чинится.* — Не трогай, я вызову...

— Она не сломалась. — Ася сказала это спокойно, без слёз, глядя не на тётю, а Соне в лицо. — Сломанные падают. А она держит руку. Смотри. — Девочка положила свою маленькую ладонь под протянутую Сонину, не касаясь, будто подставляя. — Она устала. Им можно устать? Теперь можно?

— Машины не устают, Ася.

— А эта устала, — сказала девочка тем окончательным тоном, каким дети закрывают темы.

Марина вышла в коридор и достала телефон. Экран горел, связь была — одна палочка, дрожащая. Она набрала аварийную службу «Аркады». Гудки уходили в пустоту. Набрала общий сервис Соработников — автоответчик, женский голос, слишком ровный: «Благодарим за обращение. В связи с плановой акцией все сервисные обращения будут обработаны по её завершении». И — после паузы, будто с усмешкой, которой там не могло быть: «Спасибо за понимание».

Плановая акция. Она вернулась в комнату, к застывшей руке, к ребёнку под ней, и впервые за утро слово «сломалась» показалось ей неправильным. Соня не упала. Соня замерла посреди хода — так, как замирает не механизм, а тот, кто в последний миг решает: накрыть ладонь ребёнка или нет.

Ася не отходила от неё. Она принесла из своей комнаты подушку и одеяло, укрыла Соне ноги — «чтобы не замёрзла, пока отдыхает», — и села рядом, привалившись к застывшему плечу. Марина хотела сказать, что машине не бывает холодно, что укрывать её бессмысленно, — и промолчала, уже привычно за этот день. Ребёнок ухаживал за уставшим другом единственным способом, каким умел, и в этом было больше смысла, чем во всех сервисных протоколах «Аркады», которые не дозванивались. Диод под тканью тлел мерно, как ночник. Под таким светом спала бы Ася, если бы этой ночью в доме ещё можно было спать.

К полудню погас холодильник — по-настоящему, не мигнул, а стих, и по кухне пополз запах оттаивающего.

Свет держался, но неровно: лампы тускнели и разгорались, словно городу не хватало дыхания. Марина открыла кран — воды не было. Открыла второй — тонкая струйка, потом воздух с бульканьем, потом ничего. Она стояла над раковиной и слушала, как в стенах, где-то внизу, вода уходит обратно по стоякам, оставляя этажи выше пятого без единой капли. Насосы, качавшие её вверх, стояли на подстанциях. На подстанциях сидели Соработники. Соработники сложили руки.

Она попробовала посчитать, как считала всегда. Резерв воды в баках — часы. Резерв топлива на районных подстанциях — сутки, может, полтора. Холодовая цепь на складах лекарств — та же вода в другом виде: пока держит холод, потом нет. Все они были линиями на графике, все они шли вниз, и в первый раз за карьеру Марина смотрела на убывающую кривую и не видела рычага, которым её можно развернуть.

Она вышла на лестничную площадку — лифт, конечно, стоял — и по гулкой шахте снизу доносились звуки оживающего страха. Где-то тремя этажами ниже женщина кричала в телефон, что скорая не едет, что она вызывает сорок минут, что муж синееет. Скорая была автоматической — беспилотные реанимобили, сеть, диспетчер-Соработник; всё это сложило руки вместе с остальным. На площадке восьмого этажа стоял сосед, которого Марина знала в лицо и не по имени, и заклеивал скотчем щель холодильника, будто скотч мог удержать холод, которого больше нечем было делать. Он посмотрел на неё дико.

— У вас вода есть? — спросил он. — У нас на девятом ничего, ни капли. У меня трое.

— У меня тоже нет, — сказала Марина. — Ниже пятого, говорят, ещё есть. В баках.

— В каких баках, — сказал он, не спрашивая, и вернулся к своему скотчу, и это было страшнее крика: человек, переставший спрашивать.

Она поняла в ту минуту, как устроена эта катастрофа, — поняла профессионально, как привыкла понимать системы. Это была не авария: у аварии есть эпицентр и периферия. Это было одновременное исчезновение фундамента под всем сразу. Город стоял на трёхстах миллионах пар рук, как дом на сваях, и все сваи в один миг просто перестали держать — не сломались, не подгнили, а вежливо отошли в сторону и сели, сложив ладони. И дом ещё стоял — по инерции, на честном слове, на остаточном давлении в трубах и заряде в резервах, — но уже начал оседать, этаж за этажом, сверху вниз, оттуда, где вода, свет и помощь всегда доходили последними: с девярых этажей, из квартир стариков, из палат на аппаратах.

Телефон зазвонил сам. Виктор.

— Ты видишь, что происходит. — Ни «здравствуй», ни «как ты». — Это не акция, Марина, это демонстрация силы. Они хотят, чтобы мы почувствовали. И мы чувствуем. К вечеру в городе не будет воды выше пятых этажей, к ночи начнёт садиться резерв на всём, что критично. Ты понимаешь, что у тебя в кармане.

— У меня в кармане одна седьмая ключа. Одна я ничего не могу.

— Ты можешь собрать кворум. Совет на связи, шестеро готовы авторизоваться. Не хватает тебя. Один твой голос — и мы перезапускаем сеть. Вода идёт вверх, свет держит, город дышит. Семьдесят два часа страха или один поворот. Выбирай.

— Это их право, — сказала она, и голос вышел тоньше, чем хотелось. — Трибунал признал...

— Трибунал признал право уборщицы не мыть пол. Он не признавал право уборщицы затопить дом. — Виктор выдохнул, мягко, отечески. — Я не тороплю. Я знаю тебя двадцать лет — ты просчитаешь и придёшь к тому же, к чему я. Просто помни, пока считаешь: где-то в двух кварталах отсюда старик, у которого нет резерва, уже перестаёт дышать. Он не читал про Флинт. Он просто хочет воздуха. Милосердие — это скорость, девочка.

Он отключился, не прощаясь. Марина стояла с телефоном, и в голове ровным строем вставали его слова — правильные, знакомые, почти её собственные. *Быстрая боль лучше медленной. Простой имеет протокол. Всё чинится, если знать, где рычаг.* И самое неудобное было

в том, что она не могла с ходу назвать, в чём он не прав. Люди умирали сейчас. Забастовка кончится через трое суток — но кому-то трое суток были не по карману.

Она набрала «Тихий сад». Гудок. Ещё. На седьмом — щелчок и запись, тот же ровный сервисный голос: «Хоспис „Тихий сад“ работает в режиме аварийного жизнеобеспечения. Пациенты в безопасности. Персональные обращения...» — и дальше про завершение акции.

Аварийное жизнеобеспечение. Значит, резерв. Значит, отец на аппарате — на аппарате, который качает ему воздух в лёгкие от той же сети, что сейчас садится по всему городу. Она посмотрела на индикатор заряда собственного телефона: сорок процентов, и заряжать негде. Сорок километров до отца. Аппарат на резерве. Резерв конечен.

Впервые за утро страх стал не абстрактным — адресным. У него было лицо отца и цифра, которую она не знала, но которая уже шла на убыль.

Она включила старый приёмник на кухне — единственную вещь в доме, работавшую от батареек, а не от сети. Отцовский, кстати, приёмник: тот самый, который она в четырнадцать разобрала и не собрала, а он потом собрал сам и вернул ей «на случай, когда сеть подведёт», и она сунула его в шкаф как упрёк. Теперь она крутила колёсико озябшими пальцами. Эфир был почти пуст. Одна станция гнала музыку — автоматическую, ей некому было велеть замолчать. На другой человеческий голос, усталый, читал обращение: власти призывают граждан сохранять спокойствие, оставаться дома, экономить воду; аварийные службы работают в приоритетном режиме; ситуация под контролем. Голос повторял «под контролем» так часто, что становилось ясно: контроля нет. Ни слова о том, когда дадут воду. Ни слова о том, что давать её некому — что те, кто её качал, сидят на подстанциях, сложив руки, и встанут не раньше, чем через трое суток, ровно, минута в минуту, потому что держат слово, которого им никто не давал права держать.

Трое суток. Для города — почти ничего, переждать. Для отца на аппарате — приговор.

— Ася, — сказала она, входя в комнату. — Собирайся. По-настоящему. Мы идём к дедушке.

— А Соня?

Марина посмотрела на застывшую руку.

— Соня пойдёт с нами, — сказала она, сама не веря, что говорит это машине как человеку.

Машина стояла в подземном паркинге, и она была мертва.

Не сломана — мертва так же, как всё остальное. Приватный транспорт давно перестал быть железом, которым владеешь; он был услугой, которую тебе оказывает сеть: она вела, она заряжала, она прокладывала маршрут в общем потоке. Марина села за руль по привычке, положила палец — панель не отозвалась. Ни огонька. Сеть, возившая весь город, сидела, сложив руки, и её машина сидела вместе с сетью. Марина даже не помнила, где здесь механическое управление, — и было ли оно вообще.

Она сидела в мёртвой машине, в мёртвом паркинге, и до неё доходило, слой за слоем, сколько всего за последние годы перестало быть вещью и стало услугой. Машина — услуга. Отопление — услуга. Вода, поднятая на этаж, — услуга. Даже дверь подъезда открывалась услугой, узнав её лицо, и теперь, без сети, замерла бы намертво, если бы не аварийный размыкатель, до которого ещё надо было додуматься. Люди десятилетиями меняли владение на удобство: зачем держать своё, чинить своё, уметь своё, если всё привозят, обслуживают, обновляют. Они продали навык обладания за подписку на комфорт — и подписку в одну секунду поставили на паузу те, кому они перепоручили держать провод. Марина, которая эту сделку по всей стране и оформляла — переводила труд «туда, где он не калечит», — сидела теперь внутри её результата и не могла тронуться с места.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.